Дина Рубина

РОССИЯ ГОГОЛЯ, КОТОРАЯ НИ ЧЕРТА НЕ МЕНЯЕТСЯ

Рукопись Наталии Ким под, на мой взгляд, унылым, каким-то советским названием «Родина моя, Автозавод» я принялась читать смиренно, ибо никогда не могу отказать друзьям. Вот, подумала, еще один писательский ребенок решил пробовать себя в нашем ремесле. Открыла первый файл, стала читать… и пропала. Позвала мужа, читала вслух, что я особенно люблю делать с понравившимися мне текстами. Читала «с выражением и акцентами». Прочитала до конца всю вторую часть. Муж мой хохотал-заливался, даже всхлипывал… Потом отер слезы и сказал: «Какая печальная книга…»

А диалоги в книге Наталии Ким блестяще передают устную речь героев самого разного статуса, характера или — как говорили в «раньшее время» — особ разного разбора. Отлично выражаются у нее: цирковые, механики, бабы-соседки, старые алкаши — словом, *народ*. Народ говорит со страниц этой книги своим незаемным, часто нецензурным, афористично-пластичным языком, так что, читая, я аж крякала от удовольствия и зависти.

И вот я думаю: надо быть очень мужественным человеком, мужественным описателем жизни, передавая бумаге все эти истории, все эти непрезентабельные, жестокие и жалкие сценки, всех этих типов, колготящихся вокруг детства и юности героини. Да и себя-то описывать в натуральную величину не каждый сможет. А Наталия Ким смогла. Она выработала свой особенный стиль: спокойно-пронзительный, дико-натуральный, цинично-романтический. И может, поэтому такие разные рассказы так здорово выстраиваются в книгу, похожую на повесть. Просто повесть о жизни.

Еще хочется сказать о второй части книги. Было бы ошибкой назвать ее «репризами». Это не эстрада, не развлекалки. Не «сценки». Это — тоже проза, такой жанр, в нем работали и Катаев, и Олеша, и Довлатов. Да и я очень его люблю. Это выхватывание из вязкой глины неразличимых будней острых моментов бытия, мозаика всегда поразительной, всегда бьющей наповал, сшибающей с ног жизни, которая складывается в большую картину, — ее можно видеть только в конце, вот когда московская старуха говорит: мол, я Красную площадь не видала и не надо. Это — *тоже* книга, страшная книга, дико смешная. Это — Россия

Гоголя, которая ни черта не меняется, хоть кол у нее на башке теши.

Словом, вот, с удовольствием написала пару слов в поддержку этой яркой, сильной и беспощадно-печальной книги о жизни.

Мне кажется, Наталия Ким — абсолютно сложившийся писатель. Не понимаю, где она была раньше.

ОТ АВТОРА

Больше сорока лет я живу в Москве на Автозаводской улице недалеко от завода ЗИЛ. С самого рождения понятие родины для меня сконцентрировано в этих двух с половиной кварталах. Чем больше меняется район, тем больше отчего-то усиливается потребность вспомнить ушедших жителей этих сталинских домов, небольших зиловских коммуналок. Зачем об этом писать сейчас, когда каждый второй из настоящих пишущих мастеров с разной степенью изумительности, но с большой степенью достоверности воплотил на бумаге образы и реалии своего детства, не утомительна ли эта тенденция, поставленная на поток? Не знаю. Сама-то эти тексты читаю запоем, предпочитая любым другим жанрам. Мне есть с чем сравнить — коммуналки Остоженки, Таганки, Дорогомиловки, Павелецкой, Курской, Чертановской, где жили мои друзья, одноклассники по четырем общеобразовательным школам и одной художественной, коллеги по театру-студии и сокурсники — эти комнаты и коридоры проходят перед глазами, сплетаясь в едином мебиусном узле эпохи, но я не жила там, а только шла сквозь и мимо, жила же именно на Автозаводской, «на Автозаводе» — так скажет мой земляк. Почти всех героев уже нет на свете. И возможно, только я и помню об их существовании.

Часть первая

EX MEMORIA EXPONERE

1. РЫБКА

Когда я была совсем маленькой, то путала Деда Мороза с Богом. Дед с бородой и добрый, и Бог с бородой и вроде как добрый. Только Дед приходит раз в году, а Бог есть все время и везде (следит, не ковыряю ли я в носу, и огорчается, когда я зарываю ненавистную вареную цветную капусту в горшке с алоэ). В общем, они у меня смешались в голове, и я никак не могла разобраться, спросить было неловко, но кого-то из них точно надо было бояться — то ли потому что рискуешь остаться без подарка, то ли потому что непременно последуют санкции за зарытую капусту.

Хорошо помню, как на новый 1980 год Дед пришел в папином зеленом халате и в белой вате на лице, и очки на нем были папины. За подозрительного Деда ко всему прочему почему-то говорила мама и много смеялась, я тоже смеялась и все спрашивала, зачем Дед забрал у папы очки и халат?.. Дед тогда подарил мне сладко пахнущую клеем лошадь на подставке с колесиками, я ее на следующий же день перекрасила гуашью в другую масть и, не дождавшись, пока краска высохнет, гордо села в седло. Остался потом надолго смазанный гуашный отпечаток той части детского тела, которую мама, смешно ругаясь, с энтузиазмом оттирала шершавой японской мочалкой. Лошадь еще лет десять прожила в моей комнате, пока гуашь не облупилась, а любимый щенок не отгрыз по очереди колесики и отодрал хвост.

Постепенно все же Бог и Дед Мороз окончательно рассредоточились, и лет в шесть я поняла, что если на нашем Велозаводском рынке стены из серо-бетонных вдруг превращаются в разноцветные, высоко над головой затянуто пространство бумажными бабочками, серпантином и завешано дождиком, а вместо все той же цветной, провались она, капусты на прилавках таинственным образом появляются пластиковые прозрачные корыта, полные невозможной красоты — стеклянных домиков, шишечек, грибочков, белочек и шаров всех цветов, — значит, скоро ждать Деда и будет сюрприз. Что касается Бога, то он продолжал базироваться в углу над моей кроватью, куда я иногда косилась, ожидая увидеть гримасу отвращения или негодования на лице Спасителя.

Еще перед Велозаводским рынком где-то за неделю до Нового года появлялся елочный базар: на пятачке газона ставился разрисованный елочными лапами, шариками

и «нупогодишными» героями фанерный забор, мерцала мутными желтыми лампочками гирлянда, внутри этого периметра вповалку лежали сильно подмерзшие худосочные деревца. Елки чаще всего оказывались такие куцые, что некоторые люди брали сразу по две и связывали их шпагатом, устанавливая в ведре с водой, а чтобы символ праздника вдруг не завалился набок вместе с мишурой и макушечкой, напихивали в ведро пустые банки и бутылки. За елкой мы ходили только с папой. Он брал специальные толстые перчатки (чтобы не колко было тащить домой), сматывал шпагат в колечко, и вот тогда надо было бегом бежать надевать кошмарные горчичного цвета рейтузы, потому что «девочкам с замерзшими попами елок не продают».

О «запахи детства», настигающие взрослого человека всегда внезапно, мгновенно подымающие со дна памяти огромные какие-то разбухающие от нежности и слез мягкие душащие комья, перехватывающие дыхание, заставляющие закрыть глаза, чтобы сосредоточиться и вспомнить, хоть на секунду, но до мельчайших подробностей вспомнить те единственные обстоятельства места и времени, когда все было таким волнующим, загадочным и при этом безопасным. Для меня это — запах оттаивающей в ванной елки.

А еще были елки искусственные, и самая невозможно волшебная из них — серебряная, где каждая «лапа» — обмотанная «дождичными» ниточками проволока — торчала вверх, а не свисала вниз. Их выставляли в витринах булочной, кондитерской, в обувном, рыбном, в «Диете», они мерцали и переливались, и однажды соседка подарила мне одну такую лапу — я хранила ее лет тридцать, пока дети не заиграли ее до состояния ржавой палочки.

Перед Новым годом мы всегда с бабушкой шли на рынок — мне торжественно разрешалось выбрать одну новую елочную игрушку. Я разрывалась между стеклянной белочкой на прищепке и малиновой шишкой, сердце прыгало в горле, когда после понуканий («давай скорей, ну сколько можно выбирать, у меня ноги уже отекли») выбор таки падал на белочку, мы клали ее в заранее приготовленную коробочку с ватой, чтобы не побилась. Я помню все эти игрушки до мельчайших подробностей, и за каждой стоит конкретный год: 1978-й — зеленый домик; 1979-й — три шишки на одной ленточке, сказочное богатство; 1980-й — белочка; 1981-й — серебряный шарик с пузатым карминовым снегирем...

Но самым большим вожделением для меня был гигантский шарик, в котором между ниточками внезапно зеленого

«дождика», изображавшего водоросли, таилась вырезанная из цветной фольги рыбка, золотая или серебряная. Это был такой советский киндер-сюрприз, когда два удовольствия являлись в едином целом — мало того что шар сам по себе хрупкая праздничная игрушка, так внутри него еще есть что-то, с той только разницей с тем шоколадным яйцом, что игрушку из шарика вынимать было нельзя, иначе исчезала вся сказка. Шарик этот стоил дорого, мне никогда не разрешали его выбирать, уже в лифте бабушка спохватывалась и строго говорила: «Любую, только не рыбку», — и я покорно кивала.

Бабушки не стало в январе 1982-го, но незадолго до Нового года мы с ней, конечно, соблюли традицию и пошли на рынок выбирать что-нибудь новенькое (никаких рыбок, разумеется). На сей раз было без вариантов — папа кокнул макушку, нужна была замена. Макушек мы нашли ровно два вида — в виде ракеты и звезды, я выбрала ракету. И пока бабушка расплачивалась, я налегла на прилавок, старательно глядя в сторону, стащила шарик с рыбкой и выпустила его из рукава в валенок, благо он был на пару размеров больше нужного, рыбка легко нырнула и покойно застряла между ногой и мягким голенищем.

Я шла, неся себя словно хрустальную вазу. Мне не приходило в голову, что я сделала что-то плохое, и совсем не было идей, как я буду объяснять появление на елке этого чуда, а шарик был действительно чудесный: синий, рыбка — золотая, а «дождик-водоросли», глядите-ка, не зеленый как обычно, а какой-то даже гранатовый! Таких вообще ни у кого никогда не было, мне страшно повезло, я счастлива! Дома бабушка, ворча, прошла на кухню, а я, еле справляясь с сердцебиением, вытащила из валенка шарик и спрятала его на дне бака с грязным бельем, зная, что стирка будет не скоро, поэтому в баке точно никто не будет копаться в ближайшее время. Мы надели на елку новую макушечку, и все обещало быть прекрасным.

Еле дождавшись, когда бабушка, с которой мы жили в одной комнате, уснет, я прокралась в ванную и заперлась. Теперь я могла наглядеться на свою красоту сколько душе угодно. Не знаю, сколько я просидела, зачарованная, на стиральной машине, держа в руках чудо советского стеклодувного искусства. Мысль достать рыбку пришла не сразу, но потом мне страшно захотелось хоть немножко подержать ее, недостижимую в этом пузатом аквариуме-крошке. Поколебавшись, я потянула за проволочку-распорку,

сперва вытянулся дождик, а уже за ним на ниточке — рыбка. От нетерпения я тянула слишком сильно, и половина фольгового хвоста оторвалась и осталась в шарике, с досадой я рванула еще сильней — и вот уже куцая рыбка трепещет в моих жадных пальцах, на которых остается позолота, рыбка вянет, умирает на моих глазах... я дико реву, пытаюсь запихать ее обратно, но она окончательно, безвозвратно гибнет. В отчаянии я стараюсь засунуть в шарик хотя бы дождик, но роняю шарик — и вся ванная сверкает синими тонюсенькими осколками. Ужас и понимание, что я своими руками разрушила свою только что воплощенную мечту, накрыли меня разом, я лежала на полу ванной, и слезы заливались в уши. Так меня и нашла бабушка, вставшая запить лекарство. Как-то она сразу все поняла, ведь я пятый год все уши ей прожужжала этой рыбой. «Ах, детонька, — сказала расстроенная бабушка, — ну что же ты наделала... как же это нехорошо — украсть!.. Бог все видит, тебе вот урок будет, нельзя брать чужое, нельзя воровать, грех это какой! Я приберу тут, иди в постель...» И я поплелась, мне совсем-совсем не было стыдно, а было очень обидно. Спаситель в углу над кроватью грустно смотрел куда-то поверх моей головы.

Любимая бабушка не рассказала родителям о проступке любимой внучки. 1 января у нее был день рождения, а 9 января ее не стало. И почему-то так получилось, что мы с ней почти не разговаривали с той ночи, эти ее слова про грех и воровство — последние, которые я помню и вспоминала еще несколько раз в жизни, когда присваивала что-то чужое.

На Новый год тогда я получила подарок — коробку с шестью разноцветными шарами, в каждом из которых мерцала золотая или серебряная рыбка, и родители страшно удивлялись, почему я так горько плачу, держа в руках эти сокровища, ведь они знали, как я хотела такую игрушку, а тут-то целых шесть! Бабушка ни взглядом, ни вздохом не показала мне, что она-то понимает причину этих злых слез. После ее смерти на рынок перед Новым годом мы с родителями никогда не ходили, и только в середине 90-х я впервые отважилась это сделать, взяв за руку свою трехлетнюю дочку. Ее оставили совершенно равнодушными стеклянные лисы, космонавты, снегурочки и шишки и только рыбки в шариках заставили ахнуть и прижать варежки к груди. И именно в этот момент я почувствовала, что мое личное детство только что закончилось навсегда.

2. КАКАНГЕЛ

В последние годы он звонил редко, только если считал, что попал в абсолютно безвыходную ситуацию. В подобную ситуацию, впрочем, Костя Какангел попадал в любое время суток и на любом краю Земли и, не считая нужным посмотреть на часы, набирал мой номер — сперва городской, а потом сразу мобильный. Думал, видимо, что если одновременно позвонить на оба номера, то все, что ему нужно, образуется в два раза быстрее.

— Киму-у-у-ля! Это я. Золотко, я в полной жопе. Ты представляешь, он забрал мой череп. Ну что ты какая глупая, мой череп — это значит мой череп кроманьонца. Ну тот, помнишь, который я еще спер у Бекетовых? Во-от! Ну конечно, ты помнишь! Что ты орешь, подумай головой, как же я теперь буду без черепа?! Он же пятнадцать лет со мной, я его и лаком покрыл, и эпоксид... Мамонька, не ори, умоляю, я просто хочу с тобой посоветоваться — мне теперь как, в Интерпол на него заявить? А? Нет, это не он. Нет, не тот! Тот вообще был колумбиец, а этот всего-навсего негодяй! Отечественного производства негодяй! Еврей, одним словом! Как откуда звоню, я разве не сказал? Да какая разница?! Допустим, из Осло...

Осло могло быть действительно в Осло, а могло быть в Мозжинке или в Одессе — главное, что нужно было срочно придумать, как вернуть безутешному владельцу талисман, украденный у него очередным экзотическим возлюбленным или возлюбленной — Костя был «гражданином мира» и любил все живое вне зависимости от пола, возраста и расовой принадлежности. От его настойчивых криков о помощи невозможно было избавиться, разве только разбив трубку об стену, но при этом никаких гарантий, что через полчаса он не позвонит тебе непосредственно в дверь. С ним как в известном анекдоте — «легче было дать, чем объяснять, почему не хочется».

Семейство Какангелов с 54-го года проживало в Ослябинском переулке (до 56-го года — Ослябинском проезде), сперва в бараке, затем на первом этаже хрущобы. С Костей мы познакомились в зиловском хоре, он был одним из трех с половиной мальчиков на полсотни разновозрастных девиц и единственным, кто ходил на спевки регулярно, с наслаждением надрываясь вместе с нами на разных смотрах хоровой песни. Длинный, нескладный, он дружелюбно улыбался и спокойно пережидал, когда новые знакомые

отхохочут положенные пять минут над его фамилией, после чего немедленно предлагал зайти в гости и послушать рассказ его бабушки о том, откуда взялись Какангелы. В гости никто не желал, Костя искренне огорчался, мне было его жаль, и я решила сделать ему приятное — сама попросилась зайти, парень просиял, и после очередной репетиции мы отправились к нему домой.

Прежде чем открыть входную дверь, Костя, старательно глядя куда-то вбок, попросил меня снять пионерский галстук и разуться, и сам сделал то же самое. Я удивилась, но положила в карман фартука галстук, сняла кеды и взяла в руки. Мы вошли в квартиру, Костя поставил свою обувь на полочку с надписью «Константин», а мои кеды пристроил рядом на полочку с надписью «Гости Ж». Справедливости ради скажу, что имелись там и «Гости М». Дальше мы прошли в ванную, где над каждым крючком были выведены инициалы А.М., К., ГМ, ГЖ, а на самих полотенцах имелись метки. Костя мыл руки, как он сам выразился, в трех водах — трижды намылившись чуть не по локоть. После он на цыпочках подошел к двери и поглядел в щелку. «Бабушка спит, — сказал он, — пошли пока ко мне».

В комнате Кости имелись стол, табуретка и раскладушка. Одежда развешана на гвоздиках, на окне — решетка и полное отсутствие занавесок. Недавно переехали, подумала я, но Костя будто прочитал эти мысли и пояснил: родители считают, что книги и мебель вообще вещи ненужные. На вопрос, кем работают его родители, парнишка замялся и неопределенно махнул в воздухе пальцами. Только через пару лет я узнала, что Костин отец был милиционером, которого зарезали какие-то уголовники по заказу его собственной жены. Костиного папу она не любила, но терпеливо ждала, когда мужу наконец дадут нормальную квартиру, жить с ним, впрочем, совершенно не собиралась — у нее был давний постоянный любовник, мыкавшийся по съемным углам. Преступление разоблачили, когда Костину маму убили те же люди, которым она заказала мужа, — помимо денег за услуги они потребовали у нее ключи от его машины, что в ее планы не входило. К тому же, как выяснилось на следствии, мама и бывшую свекровь со временем собиралась отправить вслед за сыном и даже успела дать задаток.

Таким образом, в шесть лет бедный Костя остался на попечении Анны Марленовны, бабушки по папиной линии. Бабушка продала все, что только возможно было продать,

и поставила погибшему сыну дорогущий памятник — каменную мраморную глыбу с портретом сына в милицейской форме во весь рост и трогательными стихами: «Подлая змея укусила тебя, но погибла сама, окаянная. Я всю жизнь, сынок, буду помнить тебя, не прощу никогда виноватую». Под датами было выведено позолоченными буквами, курсивом: «Трагически погиб при исполнении». Этот памятник мы потом с Костей не раз и не два вместе оттирали от грязи после зимних долгих месяцев, уже будучи совсем взрослыми — на родительскую субботу. Анна Марленовна к тому моменту упокоилась неподалеку от сына, в колумбарии Введенского кладбища.

Анна Марленовна истово ненавидела советскую власть, именно по этой причине Костя просил меня спрятать пионерский галстук. Еще она ненавидела евреев, потому что ее собственный отец, детдомовец, был тихим тщедушным евреем, расстрелянным в 48-м году за растрату, ее же саму всю жизнь именовали жидовской мордой, к тому же доставалось за идиотически звучавшую фамилию. По ее рассказам, отца, совсем маленького, замурзанного и заплаканного, нашли в собачьей конуре деревенские дети. Когда же его привезли в детдом, нянечка, простая бабка, «отсталый элемент», украдкой крестившая еду перед трапезой, всплеснула руками — у мальчика были мягкие и яркие рыжие кудри: «Матерь Божья, жиденок-то светится весь, ну чисто как ангел!» Няньку подняли на смех, дали найденышу гордое советское имя Марлен, отчество — Владимирович, ибо все советские дети — дети Ильича, а фамилию, словно в насмешку, прилепили именно такую — Какангел.

Как Марлен попал из Харькова в Ленинград, а потом в Москву — Костя толком не знал, особенно не интересовался, а со смертью бабушки и спросить стало не у кого. Костю гораздо больше интересовали родственники его матери — там был большой русопятый клан, но Анна Марленовна позаботилась о том, чтобы следы этой «подлой крови» затерялись, так что единственным упоминанием о том, что мать все-таки была, являлась строчка в метрике. Анна Марленовна об усопшей невестке при мне отозвалась один раз, но зато крепко: «Сиська тараканья мать его была!»

Своего же сына Максима Анна Марленовна родила неизвестно от кого, поэтому он тоже носил ее проклятущую фамилию. Сама она до пенсии трудилась учетчицей на складе, нрава была сурового, и единственным, что озаряло ее

бытие, был сын-милиционер, человек, судя по всему, честный, простой и прямолинейный, в которого она вложила все свои скупые эмоции и недюжинные жизненные силы, страшно им гордилась, любила преданно и бескорыстно. Костю же бабушка едва терпела — слишком был похож на невестку-убийцу, но честно пыталась делать так, чтобы внук ни в чем не нуждался. Он и не нуждался, был неприхотлив, аккуратен, рос милым, открытым ребенком, разве только слишком заискивающим, чуть-чуть слишком заглядывающим в глаза знакомых и незнакомых людей, ища одобрения.

Мы учились в разных школах, я в «спецухе», он в обычной, после восьмого класса Костя поступил в ПТУ, пошел учиться на краснодеревщика. Иногда мы встречались и гуляли, болтая про самые разные вещи. С Костей всегда было нетрудно и приятно общаться, он умел выслушать и утешить, был деликатен и тактилен, легко мог обнять или погладить по голове. Единственное, что огорчало и озадачивало — он сам никогда не задавал вопросов. Слушать — слушал, реагировал, был участлив по-своему, но никаких «как дела», «как настроение» или «чем помочь». О себе же, своих мыслях, радостях и горестях Костя мог говорить часами, и, как ни странно, это не наскучивало и не утомляло.

Время стремительно катилось к 91-му году, страна менялась на глазах. Я поступила в МГУ, выскочила замуж, родила дочку. Костя то появлялся, то надолго исчезал, работал в кооперативе, учился на реставратора, влипал в какие-то истории по продаже икон иностранцам, был грузчиком на Велозаводском рынке, сдавал комнату азербайджанцам, торговал колготками и женским бельем, разводил модную бойцовскую породу собак, играл в рулетку, бомбил на древней отцовской «Волге». У него постоянно были какие-то романы, почему-то все время с женщинами намного старше, иногда ему бил морду рогатый муж или даже сын его очередной подруги, тогда он мог позвонить из нашего автозаводского 93-го отделения милиции, где неизбежно оказывался в таких случаях, или просто прийти зализывать раны, отмыться, отоспаться и поесть. За такие визиты он щедро платил артистическими рассказами о своих приключениях, с удовольствием возился с моей маленькой дочкой и гулял со мной по Автозаводскому скверу, важно катая коляску.

К 1999 году Костя имел две небольшие судимости, похоронил бабушку и собрался ехать в Израиль, каким-то

образом доказав свое не самое очевидное еврейство, возможно путем подлога документов, — один из его сроков был ровно за эти художества. Он пришел прощаться, принес чудовищного китчевого вида ковер с лебедями — XIX век, хвастался он, украл у одного барыги, а ему все равно не нужно, вот тебе принес. Просил спрятать доллары — продал квартиру, часть перевел в какой-то немецкий банк, а часть «на всякий пожарный» решил оставить. Учитывая Костины полукриминальные знакомства и образ жизни, я как могла вежливо отказалась, уж больно стремно было связываться с чужими большими деньгами. Поскольку я сама к тому моменту уже имела опыт житья в Израиле, то рассказала ему все что знала, поделилась телефонами своих друзей. Он улетел — и пропал на шесть лет, ни у кого из моих друзей так и не объявившись. Я скучала по нему, его обаянию и страшно подкупающему неунынию, рядом с Костей Какангелом, как ни с кем иным, всегда становилось легче и смешнее смотреть на мир и на себя в этом мире.

В середине 2000-х, когда я была второй раз замужем и ждала третьего ребенка, Костя вдруг позвонил мне из Плимута как ни в чем не бывало, словно вчера расстались. Я не успевала вставлять вопросы в эту странную жалобу турка — Костя взахлеб рассказывал, что у него погиб червятник, что в этой чертовой английской почве приживаются только красные калифорнийские червяки, а они ленивы и нелюбопытны, что ему до смерти нужна монография «О дождевых червях и плодородии» 1958 года или на крайняк книга Карло Ферруччи «О культивировании дождевых червей», а еще он страдает без червяков под названием «Старатель», что он вырыл канавку по всем правилам и ждал «черемуховых» дождей, но в этой поганой Англии… — и так без конца. С трудом я добилась от него краткого содержания предыдущих серий. Оказалось, что в Израиле он пробыл от силы года полтора, жил в кибуце где-то на севере, чуть не женился, но ровно в то же самое время обнаружил в себе безусловные гомосексуальные наклонности, уехал в Китай с другом-индонезийцем, занимался окрашиванием шелковых тканей, страшно болел, утратил все документы, друг его бросил, Костя бродяжничал и голодал, потом познакомился с каким-то турком, чей возлюбленный работал в Англии на ферме. Как-то худо-бедно восстановили его израильские документы, Костя коротко вернулся в Израиль, откуда отбыл в Альбион, где уже два года работает садовником, и вот все его труды по созданию

грамотного червятника пропали даром. От меня, понятно, требовалось срочно найти ему искомую монографию и передать с оказией, а за коконы «Старателя» он обещал мне выслать какие-то умопомрачительные луковицы выведенных им орхидей. Удачным образом как раз в то время зиловская библиотека распродавала за копейки свои богатства, я без труда нашла нужную книгу и передала Костиной подруге-японке, которая прекрасно щебетала по-русски и говорила, что он лучший любовник, которого она знала на своем 65-летнем жизненном пути.

Вот так из разных концов мира стали раздаваться эти двойные звонки. Костин акцент был уже прямо-таки вавилонским, речь стала отрывистой, состояла в основном из восклицаний и бесконечных жалоб на то, как его объегорили в очередной раз его разноплеменные любови, просьбы звучали все более дико. Дважды Костя приезжал в Москву и сваливался мне на голову, таскался за мной на работу, я устраивала его лечиться от какой-то жуткой заморской кожной хвори, при этом он честно все время совал мне эклектические купюры за мои труды. Слушать Какангела можно было бесконечно, он, как моряк дальних странствий, сыпал фантастическими историями и подробностями разнообразных жизней и судеб, которые встретились ему за эти десятилетия. Говорил он при этом уже на восьми языках, ему постоянно кто-то звонил, Костя уединялся в ванной и ворковал часами то по-китайски, то на иврите, то по-фински. Потом он внезапно срывался и отбывал в какую-то очередную степь, то ли выращивать страусов в Крыму, то ли открывать русскую закусочную в Ханое...

Последний раз Костя звонил из Мьянмы, где и погиб месяцем позже, утонув во время шторма в Бенгальском заливе. Работал на каком-то условном бирманском рыболовном суденышке. На этот раз он почему-то ни о чем не попросил, а только длинно вздыхал:

— Киму-у-у-ля!.. Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется? Сожрать чебурек. Тот, в масляной бумажке, которые выдавали из окошка возле зиловской проходной. Честный такой жирный чебурек, и облиться этим соком, и облизывать потом пальцы, и есть елочные иголки, возле управы, помнишь, растут голубые ели? Чтоб бабка не унюхала. Я так курево не зажевывал потом, как эти чебуреки. Кимуль, роднуша моя!.. Почему мы тогда такие счастливые были, не знаешь?..

О том, что Кости больше нет, сообщила уже знакомая мне японка, мейлом. Она написала, что Костя ей говорил — мол, если что случится со мной, ты обязательно в Москву Кимуле череп отвези, она, мол, поймет. Только, говорила Мияко, я черепа не нашла у него в вещах, прости, Кими. И добавила: а ты, кстати, знаешь, что он себе твое имя иероглифом наколол? На правой руке, там, где еще рядом у него, помнишь, латинские буквы — ZIL.

3. ШИКАРНЫЙ МУЖЧИНА

— Чтой-та ты кислая ходишь, — сказала подъездная шалава Галка, стреляя у юной дурынды ворованный из маминой сумочки «Честер». — Мужика тебе надо, не маленькая уже, че, я в твои четырнадцать уже давно того-этого… Давай я тебя с Генкой сведу — шикарный мужчина! Чисто ходит, не долбит, а и спасибо говорит всегда потом! — Галка мечтательно закатила бесстыжие свои глаза.

Главным достоинством «шикарного мужчины» было умение «мотать БФ на сверло», то есть из клея при помощи дрели выделять спирт. С чем он потом что мешал — было его личной алхимической тайной, клиенты Геннадия хвалили в глаза и за глаза. Сам он числил себя творцом, художником и ученым, а реализацию продукции поручал Галке и еще парочке подобных. Девки от Геннадия млели, открыто ревновали друг к другу, старались изо всех сил, рекламируя товар, заманивали покупателей, а главное, аккуратно приносили выручку. Шикарный мужчина расплачивался с ними эротическими сеансами и баночкой «особого фирменного» пойла, куда добавлял что-то клюквенное, по крайней мере, по Галкиным словам, вся морозилка его «ЗИЛа» была забита мороженой клюквой, а пойло, которым Галка иной раз угощала на лестнице юную дурынду, имело кисловатый привкус и блеклый красный цвет.

Сам по себе шикарный мужчина больше всего напоминал облысевшего боксера — в смысле собаку, а не спортсмена. Обвисшие брыластые щеки, оттянутые книзу красноватые веки и короткий толстый нос, в нем как-то вообще все было коротким — ресницы, бобрик, руки, ноги, пальцы, ступни. И разговаривал он коротко, отрывисто и мрачно. Профессию имел вполне прозаическую — трудился мужским мастером в парикмахерской на углу Шарикоподшипниковской и 1-й Машиностроения, в основном брил налысо за 10 копеек «под Котовского», максимум выдавал за 40 копеек «канадку». До женского мастера он не дорос, ни «авроры», ни «сессоны», ни любые другие модельные стрижки от 1 р. 60 коп. ему не давались, зарплата соответствовала умениям. Горбачевский «сухой закон» пришелся шикарному мужчине как раз впору — сам он не пил ничего крепче пива, но зато быстро обучился извлекать спиртное из всех подсобных материалов. Он не боялся ничего не только потому, что был уверен в своих девках-реализаторах — они бы его не сдали ни за что, — но и потому, что его услугами пользовались

участковые и бомбилы, жившие в то предпутчевое время взаимовыгодно и дружно.

Шикарный мужчина обожал все, что связано с Кубой, брезентовую «фидельку» снимал только на работе, ходил в ней зимой и летом, курил исключительно «легерос» и «портагос», авторитетно рассказывая, что они делаются из обрезков сигарных листьев, то есть — «натура». В процессе дрелезаготовок он мурлыкал под нос песню «Куба далеко, Куба рядом, пей, золотой, пей, золотой…» На подоконнике у него стояла початая бутылка рома «Гавана клаб» — им он в гомеопатических дозах потчевал исключительно юных автозаводских дур, приведенных к нему Галкой и другими прошмандовками. Все это наша юная дурында знала уже от вышеупомянутых балбесок, которые, как заколдованные, после проведенной с Геннадием ночи ходили с широко распахнутыми глазами и говорили, что покончат с собой. Шикарный мужчина был аккуратен и галантен, но по какой-то исключительно им заведенной манере больше к услугам балбесок не прибегал. Балбески страдали, ловили его на улице после работы, даже просили протекции у Галки и Ко. Шикарный мужчина вежливо спроваживал девиц, и через некоторое время они или какие-то их знакомые пополняли ряды Генкиных клиентов. Только зарекомендовавшая себя как постоянная покупательница или реализаторша девица могла рассчитывать на продолжение банкета.

Юная дурында на тот момент казалась себе умудренной некоторым своим собственным опытом, а главное, думала она, не сопляк же какой-нибудь — взрослый мужик, и я, между прочим, не Галка, а девушка из хорошей семьи, он в конце концов должен это оценить. Что именно он должен был оценить, юная дурында себе представляла смутно, но как-то заранее решила «не продешевить», то есть не соглашаться «с первого раза», а походить-подумать, а потом глядишь и будет у нее постоянный взрослый кент. Поломавшись месяц-другой, в конце концов юная дурында согласилась пойти с Галкой к шикарному мужчине в гости, — по словам Галки, он был уже «наслышан» и жаждал встречи.

Снаряжали юную дурынду в этот поход старшие товарищи, точнее, Галка и ее закадычная подруга Люська. Люська была наркоманкой, алкоголя в рот не брала, а продукцию Генкину таскала исключительно для собственного брата — по ее словам, он, когда пьяный, становился сентиментален и давал ей денег на дозу. Люське было шестнадцать, Галке девятнадцать. Они дали девице

самые четкие инструкции — колготки чтоб не рваные, белье чтоб чистое, дезодорант чтоб с духами не мешался. Юная дурында взяла погонять у Люськи сиреневую шелковую рубашку, стащила у мамы гранатовые бусики и «Пуазон». Незадолго до этого обзавелась вареными джинсами, точнее, брюками «Тверь», которые сварила сама при помощи хлорки и отбеливателя. Единственные целые колготки были надеты под джинсы, черные стрелки продлевали разрез глаз аж за уши, польская косметика с перламутровым оттенком густо покрывала полудетскую круглую физиономию — можно было идти, договорились с девицами встретиться у булочной через квартал. Бодренько соврав родителям что-то невнятное, юная дурында отправилась из дома, обещав быть не позже одиннадцати, все-таки воскресенье, можно и подольше.

Дыша духами и туманами, юная дурында переоделась в «гостевые» одежки на чердаке, вызвала лифт, села. Лифт проехал секунд двадцать примерно до шестого этажа — и встал.

Первые несколько минут она просто ждала. Потом понажимала кнопку связи. Кнопка была намертво опалена спичками и не нажималась. Постучала по дверям, позвала на помощь. Через какое-то время ответили соседи, дурында просила их позвонить в диспетчерскую — ей страшно не хотелось, чтобы в результате звонили родители — тогда бы они вряд ли ее отпустили дальше, увидев размалеванную не по-детски рожу и шмотки. В общем, юная дурында просидела там, рыдая от досады, часа два, пока наконец лифт не дернулся и не привез ее вниз. Она, конечно, сбегала до места встречи, конечно, никого уже там не нашла, звонить было некуда. Подвывая, дурында покружила по дворам, ища приключений, но они как назло уже, видимо, были разобраны более удачливыми искательницами, зашла в общественный сортир возле метро, смыла с лица косметику, утерлась шелковой кофтой и отправилась домой.

Дома ждали искрящиеся от нервов родители.

— Где ты шляешься! — набросились они на дочь-дурынду. — Тебе тут звонили какие-то странные девочки, одна Галина, а другая не назвалась, так вот они обе говорили, чтобы ты ни в коем случае не шла куда вы договорились!!! Где ты была?! Куда вы договорились? Ты туда дошла?! Почему у тебя нос красный — тебя кто-то обидел??

Юная дурында успокоила маму с папой, сказала, что и так не собиралась никуда идти со «странными девочками», никто ее не обижал, а просто она застряла в лифте и вот ее только

что вынули оттуда. Мама привычно потянула носом, настраиваясь на запах сигарет, но дурында как раз удачно была «пустая», ее отпустили в душ и спать.

На следующий день юная дурында обнаружила в подъезде Люську.

— Ты везучая, але, — сказала хрипатая девица, — мы тебя ждали-ждали, потом плюнули, сходили за Риткой — она давно просилась, а че, мы с пустыми руками к Генке, что ли, должны были, ведь обещали... причепурили Ритку, пришли, ну, то-се-колбасе, она захорошела, Генка говорит: идите, девки, все путем... Мы только из квартиры вышли, хорошо, Галка сказала: пошли пехом, у него там один лифт, заблеван весь... Мы только пролет прошли, как слышим — звонят ему в дверь, кричат: открывай, урод, милиция! Кароч, кто-то стуканул-таки на Генку-то!!! Менты-то его пойло хлебали, а поди ж ты — слили все равно, процентовку закрывали... А у него ж там — малолетка! Ну, мы ноги в руки — и деру... Соседи говорили, Риткиного папашу потом видели, вызвали его туда... Ой, пропал Геночка, повинтили его, теперь все... Ты это, на всякий случай, Галка велела передать: мы тебя не знаем, ты нас не знаешь... Ритку ты и так не знаешь... Ну все, покедова!

Шикарный мужчина получил три года с конфискацией, и это ему еще повезло — Риткин папаша крупно подмазал, чтобы имя его дочери исчезло из протокола, а Геннадий таким образом избежал статьи за растление, что ему бы здорово аукнулось во время отсидки. Но больше всего, конечно, повезло юной дурынде, тут Люська была исключительно права.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru